

# Геополитические условия постмодерна: государства, государственное управление и безопасность в новом тысячелетии<sup>1</sup>

*Герард О'Туатайл*

Термину «геополитика» около ста лет. Введенный в 1899 году шведским политическим ученым и консервативным политиком Рудольфом Челленом, этот термин использовался в XX веке для описания широких взаимоотношений географии, государств и мировой силовой политики. В общепринятых представлениях, доминирующих на протяжении XX века, геополитика являлась всеобъемлющей формой власти/знания, которая стремилась анализировать состояние мировых сил в пользу государственного управления великих держав. Включенная в империалистические проекты различных государств в течение века, геополитика генерировала всестороннее видение мировой политики, также предлагая отдельные стратегии для государств, направленные против их соперников. Доминирующее настроение геополитического нарратива было декларативным («вот так устроен мир») и императивным («так мы обязаны делать»). «Так есть» и «Мы» показывает ориентацию, с одной стороны, на прозрачный и понятный мир, а с другой, на определенное государство и его культурно-политическую версию правды об этом мире. Критическая геополитика — это подход, который стремится проблематизировать данные эпистемологические предположения и онтологические ориентации общепринятой геополитики (классической). Она деконструирует окуляроцентризм (критика визуальной метафоры) объективации мировой политики классической геополитикой, а также бросает вызов ее приверженности к (определенным государствоцентричным политическим практикам) государствоцентризму. Таким образом, критическая геополитика сама становится формой геополитики, втянутой в игру описаний геополитических условий, но такой, которая стремится деконструировать гегемонию геополитического дискурса и поставить под вопрос взаимоотношения сил в обнаруженных геополитических практиках доминирующих государств.

XX век был веком, разделенным геополитикой, эрой, напуганной двумя мировыми войнами и накрытой тенью потенциальной третьей мировой. Наступление нового тысячелетия является произвольным, но тем не менее полезным моментом для критического размышления над геополитикой. Какие процессы и тенденции характеризуют мировую политику и власть в новом тысячелетии? Как геополитический дискурс и практики доминирующих государств отвечают на эти

<sup>1</sup> Опубликовано в издании *Annals of the Association of American Geographers*, March 2000.

процессы и тенденции? На какие критические вопросы нужно ответить об этих геополитических дискурсах и практиках? Эти проблемы приводят в растерянность, и данная статья предоставляет не более чем знакомство с тем, как можно их решить. Центральным аргументом является то, что современное геополитическое состояние характеризуется нарушающими границы процессами и тенденциями, которые подрывают государствоцентричные предположения классической геополитики. Это вызывает развитие новых форм геополитического дискурса и практики, требующих критического исследования.

Риторика администрации президента Клинтона является свидетельством новых форм геополитического дискурса. Первое инаугурационное обращение Клинтона в 1993 году сигнализировало об изменяющемся признании форм государств, государственного управления и безопасности в мире после Холодной войны. Он объявил, что «коммуникации и коммерция глобальны; инвестиции мобильны; технологии почти волшебные; а стремление к лучшей жизни теперь универсально... Нет больше разделения между иностранным и отечественным — мировая экономика, мировая окружающая среда, мировая эпидемия СПИДа, мировая гонка вооружений — затрагивают нас всех» (Клинтон 1993). К этим темам глобализации, технологического изменения, отсутствия границ и распространяющихся планетарных угроз Клинтон возвращался на протяжении пребывания в своей должности. В обращении к Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 1997 г. президент ярко описал обещания и опасности, которые ставит мир, где национальные границы падают и увядают. «Мало-помалу,» заявлял Клинтон, «информационный век подрывает барьеры — экономические, политические, социальные — которые когда-то сдерживали людей, но не идеи» (Клинтон 1997). Появление менее разграниченного мира, будучи в целом позитивным явлением, также содержит в себе множество опасностей. «Мы все», отмечает он, «уязвимы опрометчивыми действиями неконтролируемых государств и дьявольской осью террористов, наркоторговцев и международных преступников. Эти хищники двадцать первого века кормятся на очень свободном потоке информации, идей и людей, о которых мы заботимся. Они злоупотребляют широкой силой технологий, чтобы строить черные рынки для оружия, чтобы ставить под угрозу применение закона огромными взятками незаконных денежных средств, чтобы отмывать деньги нажатием клавиши компьютера». «Эти силы» — объявил он «являются нашими врагами» (Клинтон 1997). Несколько месяцев спустя, в феврале 1998 г. Клинтон повторил этот отрывок в обращении к персоналу Пентагона в Ираке, представляя государство только как «хищника двадцать первого века», который не должен быть допущен к построению собственного ядерного, химического или биологического арсенала вооружений (Клинтон 1998). В менее насыщенном границами мире территориальная власть и военная мощь Соединенных

Штатов все еще будет нуждаться в поддержании мирового порядка и обуздании «неконтролируемых государств и ядерных преступников» (Клэр 1995).

Клинтоновское видение мира детерриториализованных опасностей, лежащих в основании определенных территориальных «неконтролируемых государств», представляет собой примечательную разновидность современного геополитического представления. Эгнью (1998) утверждает, что современное геополитическое представление возникло с установлением системы национальных государств в XVI-XVII веках в Европе. Одной из самых отличительных черт этой системы он называет «государствоцентричную оценку спатильности», характеризуемую тремя географическими предположениями: 1) государства имеют исключительную суверенную власть над своей территорией; 2) «внутренние» и «заграничные» области являются отчетливыми раздельными областями; и 3) границы государств определяют границы «общества». Данные давнишние представления в качестве описания спатильности мировой политики всегда были спорными, но они определяют границы ограниченного территориального представления, исторически приправленного геополитическим дискурсом и практиками. В последние десятилетия, это территориальное представление поставлено под сомнение, так как материальные и технологические изменения трансформировали пространственно-временной режим, обуславливающий мировую политику. Глобализация, информационализация и конец Холодной войны развязали спатильные трансформации, которые серьезно разрушили государственный суверенитет, размыли границы между «внутренним» и «внешним» государств, а также породили общее «глобальное общество», сталкивающееся с опасностями и угрозами, которые выделяются не из какого-либо одного государства, а из успехов и эксцессов развитого модерна. Доминируя столь длительное время благодаря соединению идеологического и территориального представлений, современный геополитический дискурс медленно движется к признанию более плавных, гибких и негосударствоцентричных оценок пространства и безопасности, территории и угроз.

Хотелось бы утверждать, что глобализация, информационализация, общество риска, вызвали условия геополитики постмодерна в мировой политике. Данные взаимосвязанные процессы прямо бросают вызов и разрушают границы современной межгосударственной системы, создавая новые режимы взаимосвязанности между пространствами по всему земному шару; трансформируя скалярные взаимоотношения между локальным, национальным и глобальным; вводя беспрецедентные скорости взаимодействия и коммуникации; создавая усиленную взаимозависимость и уязвимость от опасностей по всему миру. В условиях геополитики постмодерна границы, которые традиционно были разграничены геополитическим представлением, находятся в кризисе. Приставка «пост» относится к спатильной логике по ту сторону геополитического представления — с его крепкими границами и простыми различиями между

внутренним и внешним, отечественным и иностранным, Востоком и Западом, «нами» и «ними» — скорее по ту сторону самого модерна. Тот факт, что эталогика все более и более очевидна и артикулирована в дискурсе, тем не менее, не означает, что представления современной геополитики были преодолены или оставлены позади. Условия геополитики постмодерна проблематизируют спатальные рассуждения, связанные с современным геополитическим представлением, но не уничтожают его использование. Нет никакой необходимой несовместимости между условиями геополитики постмодерна и современным геополитическим представлением. В действительности, интенсификация условий геополитики постмодерна может спровоцировать увеличение притязаний на геополитические представления модерна и/или на порождение гибрида геополитических представлений, что смешает его с тенденциями детерриториализации развитого модерна в новые формы геополитического дискурса.

Корни современной геополитики постмодерна могут быть отслезены в «кардинальных изменениях в культурных и политико-экономических практиках примерно с 1972», во времена, которые Харви (1989: vii) идентифицирует как «связанные с появлением новых доминантных способов исследования пространства и времени». Датировка Харви условий постмодерна в ранних 1970-х гг. связана с некоторыми ключевыми геополитическими и геофинансовыми событиями — скачок цен на нефть ОПЕК и разрыв Ричарда Никсона с Бреттон-вудской системой искусственно поддерживаемого курса обмена валют — но его оценка имеет, в своей основе, переход к организации капитализма от фордистской модели регулирования к той, что он называет эластичным накоплением. Пока данные процессы и тенденции, характеризующие постмодерн, в общем происходят из 1960-х и 1970-х гг., условия геополитики постмодерна лучше всего рассматриваются как феномен поздних 1980-х и ранних 1990-х гг., поскольку только тогда упомянутые три широких процесса соединились в единый уникальный путь создания отчетливо новой геополитической окружающей среды.

Первым из этих процессов была усиленная глобализация корпораций и рынков в развитом капиталистическом мире с 1960-х гг. Многомерные процессы, стимулированные транснациональными корпорациями и изменяющимся экономическим разделением труда, эта качественная трансформация в международной экономике была отмечена усиливавшейся финансовой взаимосвязанностью крупнейших мировых экономик, расширяющимися торговыми связями (особенно внутрикорпоративная международная торговля), прибывающими иностранными прямыми инвестиционными потоками, а также развития глобального производства и маркетинговых стратегий (Кастельс 1996). Вторым процессом было распространение новых информационных и коммуникационных технологий, усиливавших пространственно-временное дистанцирование и сжатие, исторически связанное с модерном (Харви 1989;

Гидденс 1990). Перестраивая социальные связи путем вытаскивания их из предыдущих социальных местоположений и масштабов взаимодействий, эта сходящаяся информационная и коммуникационная революция радикально сокращала географическую дистанцию, в то же время ускоряя социальные взаимодействия, запуская развитие постмодернистской культуры электронно опосредованным представлением и взаимодействием по всему миру. Развитие транснациональных медиа-организаций и сетей типа Ted Turner's Cable Network News помогло создать новое «глобальное медиа-пространство», в котором были представлены и сыграны спектакли мировой политики.

В то время как оба этих процесса, можно сказать, представляли измененные международные отношения как коммуникации к 1980-м гг., третий набор событий явил собой коллапс коммунистических диктатур в Восточной Европе и позднее распад Советского Союза, который расчистил свежее пространство для возникновения отчетливых условий геополитического постмодерна в 1990-х гг. Озабоченные в течение десятилетий территориальной угрозой, политики национальной безопасности теперь столкнулись с другого рода заданием, чем тем, над которым работал милитаризм Холодной войны, а именно с технологиями массового уничтожения, угрожающими распространением власти и контроля со стороны создающих их государств в руки малых государств и даже негосударственных акторов. С окончанием Холодной войны, политики медленно пришли к условиям глобального «общества риска», порожденным военно-индустриальными комплексами Холодной войны (Бек 1998).

Понятие «геополитических условий постмодерна» не представляют собой «глобального» описания мировой политики в новом тысячелетии; объективация тенденций и суммирование требований данной инициативы по своему существу проблематична. Скорее, это понятие упрощено и помещено в определенные условия, в том смысле, что любое различие модерна/постмодерна является, в конечном счете, грубым, и находится в критическом анализе геополитических дилемм, с которыми сталкивается внешняя политика США [1]. Я использую это понятие здесь как эвристическое: для описания некоторых структурных трансформаций и технологических условий, которые реструктуризируют геополитику в конце двадцатого века; для характеристики некоторых современных геополитических дискурсов и практик в США, связанных с этими изменениями; а также для идентификации критических геополитических вопросов, которые нуждаются в том, чтобы быть заданными, об этих геополитических дискурсах и практиках. Следующие три параграфа рассматривают как эти три процесса — глобализация, информационализация и общество риска — воздействовали на государства и мировой порядок, практику государственного управления и осмысление безопасности в конце двадцатого века.

## **Государства: двойственность глобализации и кризис государственного управления**

Пока марксисты действительно правы в своем утверждении, что капитализм всегда был глобален, доминантная организационная структура капитализма в первой половине XX века находилась преимущественно в статике. Каждая из великих держав имела свои отграниченные и относительно автономные государственные экономики, характеризующиеся отличительными накопительными режимами (режимы регулирования, капитал-трудовые сделки, технологические и юридические парадигмы), и были доминируемы привилегированными «национальными чемпионами». Ранние геополитики, такие как Макиндер, склонялись к экономическому национализму, недвусмысленно предпочитая, чтобы британские фирмы нанимали британских рабочих строить британские военные корабли (хотя в этом случае обозначение «британский» являлось имперским, а не относящимся только к британским островам). Сегодня глобализация окончательно утверждена на роль определяющего процесса в конце XX века, на роль, по-видимому, неизбежной трансформации от эры государств структурного капитализма к эре глобального капитализма.

Проблема с риторикой «глобализации», тем не менее, в том, что она часто широко используется и плохо осмыслена. Глобализация лучше всего осмысливается как превосходство территориальности государственного капитализма, его границ, режимов и горизонтов, но не территориальности самой по себе. Перемещения и замещения пространств государственного капитализма представляют собой последовательность надгосударственной территориальности капитализма, сетей институтов на стадии становления и акторов, соединенных технологическими системами и связанными потоками. Наиболее известной является взаимосвязанная область «глобального финансового пространства», имеющая представительства в глобальных городах и соединенная с главными мировыми рынками и важнейшими оффшорами, находящимися вне международных финансовых регулирований (Лейшон 1996). Также хорошо известно более новое спатальное разделение труда, с его международными наукоградами, разделением на административные и операционные отделы, контрактами с субподрядчиками и гибкими производственными сетями, кэйрэцу и сетями отраслевых рынков, экспортно-промышленными зонами, а также продукцией «точно в срок» и системами распределения (Кокс 1997; Дэниэлс и Левер 1996). Часто описываемые как глобальные, эти экономические и технотерриториальные комплексы находятся на самом деле в высоко сконцентрированных и определенных местоположениях, обходя и игнорируя огромные части земного шара.

Развитие новых технотерриториальных комплексов, связанных с финансами и производством, глубоко изменило условия геополитической власти в конце

двадцатого века. Наша нынешняя глобальная финансовая система возникла, как следствие многих различных факторов: коллапс Бреттон-вудской системы, успех оффшорных финансовых рынков, политическое решение прекратить регулирование финансовых рынков, глобальное телекоммуникационное развитие и введение нового поколения финансовых инструментов и продуктов (Корбридж и др. 1994; Лейшон и Трифт 1997). Эти факторы «детерриторизовали» старую международную финансовую систему, где государства были более могущественными регулирующими акторами, чем они являются теперь, и создали гораздо более гибкую и изменчивую транснациональную финансовую сеть, где доминируют частные акторы и рынки сверх регулирующей власти даже самых властных государств. Благодаря своей власти и досягаемости, эта сеть представляет собой тип «государства-фантома» (Лейшон и Трифт 1997).

Геополитические условия модерна могут быть охарактеризованы общим соответствием государственной власти и капиталистической территориальности. Каждая из великих держав обладает своей собственной особенной экономической базой и государственной формой капитализма (включая инспирированный Фордом государственный капитализм как «социализм» в Советском Союзе). Геополитические условия постмодерна, напротив, отмечены растущим разделением между государственной властью и капиталистической территориальностью. Экономические структуры и финансовая власть организованы в масштабах, превышающих власть даже самых могущественных государств. Проблематичное определение геополитических условий постмодерна не является преувеличенным «концом национального государства», а скорее глобализацией государства (Омэ 1995). Это процесс, в соответствии с которым национальные учреждения, политика и практики вынуждены приспосабливаться к развивающейся динамике и спросу мировой капиталистической экономики (Хэрод и др. 1998). Эта глобализация, тем не менее, имеет множество неопределенностей. В частности, четыре, заслуживают упоминания.

Первая неопределенность касается мировых рынков, частных акторов и сетей по отношению к международному регулированию. С одной стороны, международная финансовая система, прямые иностранные инвестиции и торговые отношения нуждаются в прогнозируемом и стабильном наборе правил для ведения бизнеса прозрачным и эффективным способом. С другой стороны, многие из ключевых частных акторов мировой экономики стремятся избежать регулирования, уйти от прозрачности, затенить правила для максимизации потенциальной прибыли. Структурная нестабильность и риск имеет тенденцию к распространению как следствие этого поиска суперприбыли. Сегодняшняя мировая экономика имеет в своем центре «сложную, разросшуюся, изменчивую и рефлексивную международную финансовую систему, которая теперь, в сущности, непрерывно спроектирована на опережение господствующих государственных

норм и правил» (Лейшон и Трифт 1997: 299). Это является рецептом изменчивости и нестабильности в грядущем столетии. Транснациональный капитализм, в общем, имеет глубокое богатство и неравенство в доходах по всему миру в последние два десятилетия, обостряющиеся классовые, экологические и региональные конфликты. Историческая тенденция капитализма вызывать перепроизводство и кризис недостаточного потребления, что в свою очередь влекло глубокую институциональную нестабильность, политический экстремизм и массовое насилие, испугала двадцатый век и несет такую угрозу даже большими темпами и яростным способом в XXI век.

Вторая неопределенность касается так называемого «Вашингтонского консенсуса» между международными регуляторами, транснациональными бизнес-элитами и национальными политиками Большой Семерки (теперь, с включением России, Восемерки) ведущих промышленных государств. Организованный вокруг неолиберальных принципов свободной торговли, реформ управления и большей открытости государств в мировой экономике, этот консенсус всегда был элитарным, он успешно изменялся для приспособления к новым силам, проблемам и повесткам дня, поставленным вызовом управления мировой экономики за последнее десятилетие. Тем не менее, существуют признаки уязвимости этого консенсуса. Это явно, к примеру, в США, где популистская односторонность имеет сильную политическую поддержку со стороны Конгресса США, и в особенности, Палатой представителей. При меньшинстве левых, выступающих за права рабочих, и правых, порицающих международных бюрократов и финансовую помощь, это кредо обеспечило некоторые существенные победы за последние несколько лет, вынудив президента Клинтона изменить свои планы на мексиканскую финансовую помощь, и завоевать быстрый авторитет, чтобы президент провел переговоры о торговых соглашениях. Тот факт, что президенту США приходится постоянно бороться, чтобы финансировать международные институты, такие как Международных Валютный Фонд или ООН, а также для международных миротворческих операций американскими военными, является показателем глубочайшего нежелания гегемона играть роль мирового стабилизатора. Создающие помехи международные институты, пытающиеся продвигать свой мировой порядок, могут доставить значительные проблемы в будущем. Американской гегемонии и долларовой дипломатии, конечно, также противодействуют многие государства и некоторые группировки в международных институтах. Едва ли «Вашингтонский консенсус» все еще является элитарным консенсусом.

Третья неопределенность касается тех двухуровневых государств, которые глобализируют себя, при этом борясь с этим процессом в тех местах, которые касаются существования их политического, экономического и культурного порядков. Политические и экономические элиты таких государств как Мексика, Южная Корея, Индонезия, Таиланд и Китай стремились использовать глобали-

зацию для расширения и увеличения их власти, в то же время поддерживая внутренние властные структуры и влияние, которое их обеспечивает. Результатом явились формы разращения «клановой глобализации», в которой местные элиты использовали иностранные инвестиции и насаждали структурные реформы для собственного обогащения и их социальных и фамильных сетей. Когда такие стратегии развития вышли за свои пределы, они уже сгенерировали финансовый и, впоследствии, кризис законов, как было на опыте Тайланда, Южной Кореи и Индонезии в 1997 и 1998 гг. Способность МВФ «решать» будущие кризисы, такие как эти, сомнительна, когда он перекладывает свои неолиберальные обязательства, бюджетные ограничения и склонность обвинять в кризисах на «государства», а не «рынки».

Четвертая неопределенность касается государств вне отобранной группы государств первого и второго уровней, борющихся со сложностью развития или провалом современных государств в целом. Для многих из этих государств глобализация означает снижение уровня жизни и повышение уровня задолженностей, углубляющуюся деиндустриализацию, а также растущую преступность и коррупцию. Некоторые бывшие коммунистические государства Центральной Европы и Евразии испытывают серьезные проблемы при переходе от плановой к рыночно-капиталистической экономике (Пиклс и Смит 1998). Эти государства сталкиваются с укрощением вызовов институциональных реформ, изменений в управлении, демократизацией и экологическим менеджментом в условиях, где общественное финансирование недостаточно. Добавить к этим вызовам растущую власть мафии, незаконную капиталистическую торговлю, а также притеснение меньшинств, и тогда получим условия значительной геополитической нестабильности (Фриман и Андреас 1999). Во многих подобных ситуациях, геополитические споры о территориях и границах популяризируются и манипулируются элитами для краткосрочной выгоды, как иллюстрирует трагичный пример бывшей Югославии. Неудавшиеся государства второго мира, такие как Сербия, Северная Корея, Белоруссия, и все более, Россия, вступают в ряды неудачников стран третьего мира, от Афганистана до Гаити и Судана, как геополитические черные дыры, где политическая карта современного мира разворачивается и преобладает преимущественно хаос (Байар и др. 1999). То, что когда-то бывшая супердержавой Россия находится на пути к состоянию «неудавшегося государства», наверное самая драматическая геополитическая история всех времен, и американские аналитики в области безопасности описали сценарий «Веймарской России», чтобы подчеркнуть опасность падения российской демократии и возможность реваншистского и жесткого национализма.

Геополитические условия постмодерна, таким образом, характеризуются процессами глобализации с системными противоречиями, идеологическими уязвимостями, политической нестабильностью, а также все более проявляющимся

кризисом государственного управления. Для интернационалистских элит в правительстве США, неопределенности глобализации представляют пугающие вызовы и проблемы. Как минимум два ясных набора геополитического дискурса и практик обращают эти вызовы. Первое, значительное усилие посвящено попытке скоординировать управление, в той степени, в которой это возможно, все более сложной и неурегулированной мировой экономикой. Американские лица, принимающие решения, более осведомлены о силе финансовых сетей и нестатичных акторов (менеджеры взаимных фондов, агентства по оценкам кредитоспособности, финансовая пресса и спекулянты страховых фондов) в формировании мирового (не)порядка. В 1990-х гг. новые дискурсы, размазывавшие старомодную геополитическую риторику новыми геофинансовыми предприятиями, добились выдающегося положения, а с появлением колеблющихся рынков были описаны как «домино» с угрозой быть брошенными в терминах финансовой близости («мы должны поддерживать экономику Бразилии для собственной защиты»). Такой гибрид дискурсов является элитными конструкциями, которые необязательно пользуются широкой популярностью и поддержкой. Независимо от того, могут ли они быть успешны в гальванизирующем политическом действии во время кризиса, который неизбежно предстанет. С точки зрения критической геополитики эти дискурсы насыщены взаимоотношениями власти, которая представляет интересы транснациональной экономической элиты за счет более демократичных, эгалитарных и жизнеспособных видений мировой экономики.

Вторая группа новых дискурсов относится к бурлящим проблемам «неудавшихся государств», от голодания и геноцида в суб-Сахаре до этнических чисток в юго-восточной Европе и публичного банкротства среди прибыльных частных преступников в Евразии. Критическая геополитическая динамика в следующем веке будет представлять собой ответ развитых государств на «грядущую анархию», вызванную разрушающимися государствами и гангстерским капитализмом, внедряющимся в их мир в форме иммигрантов и беженцев, транснациональной преступности, ежедневной картинке неуправляемого хаоса (Каплан 1994). Политические импульсы отступления за укрепленные границы и существующую политику сдерживания развяжут борьбу с более интернационалистской политикой, которая защищает выборочный интервенционизм для установления международного протектората и опекунских мер, борьбу полностью очевидную как ответ на кризисы Косово и Восточного Тимора 1999 г. Влиять на ответ богатого мира будет динамика «хаоса», представленного в медиа.

### **Государственное управление: информационализация, телевидение и геополитика**

В начале XX века Хэлфорд Маккиндер (1904 г.) обрисовал в общих чертах геополитические условия модерна как «закрытое пространство» и конкурирующие

территориальные империи, это «пост-Колумбовая эпоха», где распространяющиеся сети железных дорог и коммуникаций перемещали баланс силы в сторону Хартленда Евразии. В конце XX века развитые системы транспортировки и коммуникации разграничивают геополитические условия, где «киберпространство» и технологические империи кажутся все более и более важными, эпоха постмодерна информатизированной геополитики проиллюстрирована межконтинентальными баллистическими ракетами, так называемой «революцией в военном деле» и CNN. Информатизация, как и глобализация, является удобным названием для сложной и многомерной проблематики, которая изменяет пространственные взаимоотношения между масштабами и местоположениями в конце XX века. Порожденная сходящимися в одно компьютерными, коммуникационными и транспортными технологиями, информатизация имеет значения для геополитики, что не было достаточно артикулировано [2]. Как и проведение государственного управления государствами-гегемонами, геополитика обусловлена рядом технологических систем, от аппаратов по сбору данных до военных защитных комплексов и транснациональных телекоммуникационных систем. Но геополитика является больше чем практикой государственного управления среди технологических систем; эти высоко технологические системы представляют собой расширенные государства и цивилизации. Они формируют то, что может быть определено как «геоинформационные империи», окутывающие мировое политическое пространство электронными сетями и культурными кодами, что вместе с государственным управлением имеет власть определять и разграничивать то, что воспринимается как «реальное». Взаимоотношения между этими геоинформационными империями и практикой государственного управления в представляемой мировой политике являются важным аспектом геополитических условий постмодерна. Один из крайне важных аспектов таких условий являются взаимоотношения между государственным управлением США и так называемым «глобальным телевидением» в последнем десятилетии.

Появление телевидения как доминантного способа массовой коммуникации между лидерами и населением сперва воздействовало на геополитическую практику в значительной степени во время Вьетнамской войны (широкие взаимоотношения между общедоступным медиа и геополитикой отсылают в XIX век). В 1990-х гг. развитие транснациональных телевизионных сетей и возможность освещения горячих международных кризисов в реальном времени расширило этот импульс. Телевидение вызвало то, что Игнатьев (1997, 10) определяет как «электронный интернационализм», связывающий сознание мировых «прирученных зон» со страданиями мировых «диких зон», где война, анархия и голод являются правилом. Это «способствовало слому барьеров гражданства, религии, рас и географии, которые раньше разделяли наше моральное пространство на части, за которые мы были способны нести ответственность, и части, которые были за

пределом нашего понимания», создавая в процессе становящееся «глобальное сознание» (Игнатъев 1997, 11).

Обычно концептуализируемое как «эффект CNN», после развития системы сети круглосуточного новостного вещания медиа магнатом Тедом Тернером, феномен «глобального телевидения» широко воспринимается как повлиявший на популярность войны в Персидском заливе, решения администрации Буша вмешаться в гражданскую войну в Сомали, последующее решение администрации Клинтона об уходе из Сомали в связи со смертью американских солдат, а также американским стратегическим расчетом о вмешательстве в Гаити, Боснию, Косово и Восточный Тимор. Исследования эффекта CNN самими журналистами, тем не менее, имели тенденцию дискредитировать точку зрения, которую отображает медиа, и по которой технологии манипулируют иностранным процессом принятия решений (Говинг 1994; Натсиос 1996; Ньюман 1996). Стробел (1996: 5) утверждает, что эффекта CNN, определенный как «утрата политического контроля», не существует; взаимоотношение между медиа и иностранными политиками более тонко и ситуационально. При правильных условиях новостные медиа имеют мощный эффект на процесс, утверждает он, но «эти условия почти всегда устанавливаются самими иностранными политиками или растущим числом политических акторов на международной сцене» (1996: 5). Однако, такой аргумент кадров, работающих внутри геоинформационных империй, имеющий тенденцию отражать свое понимание себя, рассматривает медиа скорее как значительный «трубопровод» для новостей, чем как сетевой актор, определяющий что будет новостью, почему это новость, и как это будет представлено в качестве новости (Люк и О'Туатайл 1997). В стремлении опровергнуть узкие линейные модели влияния, такие исследования терпят неудачу в схватывании того, как современные телекоммуникации подают мировую политику в скорости и представлении медиа культуры.

Способность новых медиа организаций развертывать спутниковые системы, которые могут ретранслировать в живом времени изображения из горячих геополитических точек, ускорила темп дипломатии и государственного управления в конце двадцатого века. Эти изображения предоставляют уникальный интеллектуальный ресурс для иностранных политиков и обзоревающей общественности, позволяя им лучше визуализировать как определенный кризис проявляет себя в отдаленном регионе (хотя они могут дать далеко не полную картину сложности кризисов). Но эти изображения и информационные потоки придают кризисам непосредственность и близость, которая может подорвать ограниченные стратегии и моральную географию иностранных политиков. Некоторые постоянные телевизионные образы могут создать императивы обязательств и ответственности, особенно в отношении вопиющих нарушений прав человека в регионах, которые стратегически маргинальны и географически отдаленны (Ротберг и Вейс 1996).

Это может создать затруднительные дилеммы для иностранных политиков, так как они попадают в универсальную географию моральной ответственности, ассоциируемую с «человеколюбием», а также гораздо более ограниченную географию «жизненных национальных интересов», основанных на стратегических вычислениях и обязательствах (Най 1999).

В то время как телевизионные изображения имеют способность подстрекать и возбуждать «глобальное сознание», «электронный интернационализм» стирает пределы. Современные телекоммуникации и сетевые акторы медиа имеют тенденцию представлять геополитический конфликт как телевизиуальные спектакли, в которых фигурируют ясно закодированные протагонисты в драматическом конфликте на локальной сцене. Концептуализация и презентация геополитической реальности имеет тенденцию быть в большей степени визуальной, с драматическими картинками и острыми сценами, управляя спектаклем и ставя пронзительные вопросы аудитории. Без хорошей визуальности — беженцев, рыночной резни, концентрационных лагерей, горящих зданий, волн демонстраций, войск на улицах — определенные события не освещаются как область соответствующего и «реального». Без легко схватываемой сюжетной линии и соответствующих картинок, определенные спектакли представляют трудности концептуализации и репрезентации для масс медиа. Только кризисы со значительно захватывающим значением способны пробиться на экраны общественности. Принцип развлечения неизбежно заражает освещение и коммуникацию, представляя геополитические конфликты как глубоко драматичные с борющимися главными героями, высокими ставками и потенциалом высокотехнологичных спецэффектов. Также существенным является заполнение геополитических конфликтов в качестве серьезных дилемм иностранной политики при помощи сенсационности знаменитостей. Дело О.Дж. Симпсона, смерть принцессы Дианы и роман Клинтона с Левински представляют собой случаи безумства манипулирования через знаменитостей, которые раздули из относительно банальных и незначительных событий в мировые новости. Также затеряны в вихре предвзято поданной информации такие вялотекущие геополитические кризисы, как российский финансовый кризис, или усугубляющаяся экологическая деградация на планете.

Сила телевизионных образов обуславливать геополитику была очевидна на протяжении эволюции внешней политики США по отношению к Боснии и Косово. Войны в бывшей Югославии, начавшиеся в 1991 г. угрожали таким классическим стратегическим интересам западных держав, как нефтяные ресурсы или баланс сил. Следовательно, США и НАТО первоначально следовали политике ограниченных обязательств, представляя кризис как «гуманитарный», а не «стратегический». Однако когда Босния стала символическим местом для западных держав из-за последовательных провалов Европейского Союза, ООН и затем НАТО решительно прекратили этнические чистки в регионе (О’Туатайл 1999).

Постоянные телевизионные изображения и медиа сообщения о резне и геноциде в этом маргинальном регионе европейского континента подрывали оправдания расширения НАТО на континенте. Босния стала «стратегическим знаком», местоположением, которое было значимо своей центрированностью в медиа, символическому значению и относительной географической близости к «Западу». В конечном счете, под руководством американцев, в августе 1995 г. НАТО решительно вмешалось, проведя бомбежку боснийских сербов, и война была закончена на подписании Дэйтоновского мирного соглашения.

Когда телевизионные изображения новой резни граждан в Косово были показаны на весь мир в 1998 и 1999 гг., доверию к НАТО, как к институту, который может поддерживать мир в Европе, был опять брошен вызов. Для западных политиков Косово было значительным в регионе как потенциальное «этническое домино», нестабильность которого угрожало впутыванием соседствующего населения и государств. Косово «перепрыгнуло уровень» с локального балканского конфликта на уровень европейского кризиса и общемирового знака живучести геноцида в конце века Освенцима. Как и Босния ранее, Косово было «де-балканизировано», европеизировано и универсализировано в дискурсе западной геополитики. Косово также стало «стратегическим знаком», этической пьесой в «сердце Европы» о вековой борьбе ради создания свободной, мирной и стабильной Европы. Косово стало сценой для войны, которая была описана как «гуманитарная акция», реальной войны, которая была, что более важно, символической войной для нового подтверждения кредита доверия к НАТО как выдающегося института безопасности в Европе (не упоминая о доверии к американскому президенту с отброшенной на него тенью). Продвигаемая телевизионными изображениями, эта «война» была нравственно ограниченной, соответствующей местам из серии «стратегических знаков», ограниченная относительной безопасностью в 15,000 футов в высоту от наименее неприглядных изображений НАТО, запятнанных геополитической демонстрацией силы. Как и многие телевизиональные драмы, войны со стратегическим знаком были спроектированы, чтобы избежать реальной смерти и смерти от западных акторов.

Обоюдные взаимоотношения между геополитическими практиками и масс-медиа поднимают множество критических вопросов о власти и значении мировой политики. Как и почему определенные геополитические кризисы становятся глобальными медиа событиями, а другие нет? Как, например, Косово оказалось спроектировано как глобальный кризис с использованием организованного военного ответа, а события в Судане, Восточном Тиморе или Анголе, где убийства были такими же кровавыми и ужасными, нет? Ответ на такой вопрос актуализирует постоянную важность не только континентальной географии и геополитики, но также неявные культурные географии идентичности и информированности общностей о том, как и что мейнстримовые медиа показывают (или что не

показывают). «Стратегические знаки» обязаны своим символическим значением центрированности медиа, которая зависит от географических и культурных факторов: они не являются созданиями только медиа. Хотя спроектированные как «не имеющие границ» и «глобальные», телевизионные изображения и сети, которые передают их, включены в определенные государства, культурные формирования и системы идентичностей. Они узко глобальны в лучшем случае, и вовлечены в упражнение геополитической силы даже несмотря на самих себя.

Проблематика информационализации геополитики гораздо более значительна, чем вопрос телевидения и геополитических кризисов. Системы информационных технологий, от военной C4I2 (команда, контроль, коммуникации и компьютер, разведка и способность к взаимодействию) «системы систем» до системы глобального расположения NAVSTAR и Интернета, представляют собой некоторые технические средства, благодаря которым США поддерживает свое доминантное положение в мире. Пока менеджмент и манипуляция информацией будут решающими в практике геополитики нового тысячелетия, значения и последствия американского «информационного доминирования» не всегда будут легко распознаваемы (Най и Оуэнс 1996). Информационализированные системы команды и контроля могут открыть возможность беспрецедентной интеграции и координации в таких областях, как военная, но незамеченные компьютерные жучки и тайные вирусы могут вывести из строя эти самые киберсистемы. Сеть спутников орбитального наблюдения может помочь обнаружить потенциально угрожающий ракетный запуск, но сбой в работе такой системы, как уже происходило некоторое количество раз за последние два десятилетия, может спровоцировать случайную войну. В таких случаях проблематика информационализации размывается в проблематику глобального общества риска.

### **Безопасность: глобальное общество риска и детерриториализованные угрозы**

В современном геополитическом воображении преобладают нарративы, касающиеся баланса политических сил между соревнующимися территориальными государствами. Безопасность всецело концептуализирована территориальными понятиями, с дружественными блоками и зонами, которые должны быть защищены и объединены против внешних угроз от недружественных блоков и враждебных пространств. Территориальный предел и досягаемость врага должна быть сокращена и сдерживаема. Сегодня проблематика безопасности, стоящая перед государствами, бесконечно более сложна, с интеллектуалами по защите, объявляющими «революцию угрозы» или «новую парадигму угрозы» как следствие глобализации, информационализации и научно-технического развития (Картер и Пери 1999; Крауз и Виллиамс 1996). Пока территориальные измерения и императивы безопасности не исчезли — западный истеблишмент по безопасности

считает, что «неконтролируемые государства», такие как Северная Корея, Ирак, Иран и Куба, все еще должны быть сдерживаемы — риски, такие как экономические, государства и общества в целом, пережили глобализацию и угрозы более не могут быть спатииализованы в территориальных терминах. В самом деле, последнее десятилетие было свидетелем поразительного увеличения детерриториализованных опасностей и попыток доминирующих военных комплексов и альянсов безопасности действовать в понятиях глобализации риска, производимого научно-техническим модерном (О'Туатайл 1998). Бывший премьер-министр Израиля Шимон Перес (1993) заявил, что угрозы все более и более возрастают со стороны нетерриториальных «опасностей» и не только от территориальных «врагов», хотя, президент Клинтон утверждает, что часто между этими двумя явлениями есть взаимосвязь. Другие аналитики по безопасности описывают условия «постмодернистского терроризма», где угрозы теперь исходят от группировок смещенного центра из транснациональных террористов более чем от имеющих центр и иерархически организованных государств, где угрозы ставятся не территориям и границам, а «пространству потоков»: стратегическим транспортным системам, жизненным экономическим центрам и критическим инфраструктурам (Грей 1997; Laqueur 1996). Образы террористов, создающих оружие массового поражения или взламывающих центральную киберспатииальную инфоструктуру привели некоторых интеллектуалов по безопасности к вызову волшебным образом призрака «катастрофического терроризма» (Картер и др. 1998). Многие из этих опасностей не новы, но их значимость и профиль, накануне неопределенного двухтысячного года значительно возросла.

Угроза детерриториализации, которая более всего беспокоит западные учреждения безопасности, является увеличением информации, нуждающейся в знаниях и материалах для конструирования оружия массового уничтожения. Бетс (1998: 27) отмечает, что оружие массового уничтожения более не представляет собой технологический признак ведения войны. Это все более оружие слабых, единственная надежда ущемленных групп и бедных государств ответить ударом против подавляющей военной силы США или других доминирующих держав. Пока еще значительное технологическое знание требуется для создания химического, биологического и ядерного оружия, это знание сейчас более распространено и доступно в наем. Сообщество национальной безопасности США очень озабочено «свободными ядерными бомбами» бывшего Советского Союза, а также «учеными по свободным оружием», так как бывшие советские эксперты по оружию ищут выгодное трудоустройство за пределами бывшего Советского Союза (Сопко 1996). Сдерживание быстрого увеличения знаний и материалов, нужных для создания оружия массового поражения, является приоритетом западной системы альянса безопасности, но этот вызов несет огромные проблемы. Исследование Центра Наук и Международных дел Гарвардского

Университета о проблеме «ядерной утечки» — продажа, кража, диверсия или злоупотребление ядерным оружием и материалами ядерной программы бывшей советской ядерной программы — говорит о том, что пока вероятность ядерной войны между США и Россией значительно сокращалась, вероятность, что ядерное оружие будет задействовано в России, Европе, Ближнем Востоке или в США, возрастала (Элисон и др. 1996: 3). Некоторое число инцидентов серьезных ядерных утечек уже имело место, а произошедшие в России экономические перевороты и институциональная дезинтеграция, вероятно, создают серьезные случаи, делают инциденты с вовлечением расщепляющихся материалов отчетливой возможностью. Ядерная утечка, приводится в заключении исследования, «остается великим вызовом на ядерной повестке пост-Холодной войны, на который не дано ответа» (1996: 3) В мировом порядке, где США с военной стороны непревзойденны, отмечают, что желание ущемленных сторон внушительно ударить в ответ может стать сильным. Сдерживание не работает в таких ситуациях с тех пор, отмечают эксперты по обороне, как возмездие требует знания о том, кто может начать атаку, и где они расположены, оба неизвестных в быстром и изменчивом мире постмодерна.

Единственный путь понимания беспокойства относительно распространения оружия массового уничтожения заключен в терминах, предложенных понятием Ульриха Бека «общество риска» (Бек 1992). Общество риска, по Беку, это новый порядок модерна, это второй модерн, следующий за классическим или простым модерном, который породил индустриальное общество, где «побочные эффекты» и непреднамеренные последствия модернизации находятся в столкновении и противостоянии. Это содержит в себе то, что Бек называет «рефлексивной модернизацией» индустриального общества, вторая волна модернизации, которая пытается схватиться с беспрецедентными и прежде непризнанными невидимыми рисками, порожденными институтами, структурами и отношениями, которые характеризуют обычный модерн. И хотя обычный модерн всегда производил опасности в форме социальных и экологических побочных эффектов для индустриальных общностей, развитие и последующие проблемы ядерной и биохимической технологий во второй половине XX века отметили революционный, но незамеченный переход к безграничному, глобальному обществу риска, такому социальному порядку, где опасности более не сдерживаются границами. Определяющим событием этого социального порядка стала авария на Чернобыльской АЭС, которая извергла токсичную радиоактивность на Европу и мир.

Бек на удивление мало комментирует специфические корни глобального общества риска, но можно сказать, что оно берет свое начало в 1945 г. с возникновением первых атомных бомб. Технологический триумф индустриального модерна теперь предлагает средства для уничтожения современных городов и государств. Большой успех модерна произвел свой потенциал для своего же уничтожения.

Геополитический конфликт спровоцировал рождение глобального общества риска, но его радикальные последствия были сдержаны, поскольку геополитика Холодной войны вытеснила вопросы о качественном изменении в природе самого модерна. Как замечает Бек (1998: 145), Холодная война «предоставила такой порядок миру, который проскользнул в атомный век, порядок террора, если быть точным, но одно из этого сделало возможным заместить внутренние кризисы внешними причинами, то есть, врагами». Революционные последствия продолжающейся операции научно-технической модернизации никогда не были достаточно достигнуты. Дискурсы национальной безопасности оправдывали развитие некоторых наиболее смертельных вооружений и веществ, когда-либо изобретенных научно-технической цивилизацией. Слепо произведенные и без труда узаконенные в период Холодной войны, эти научно-технические достижения теперь распространены, как следствие шпионажа и «нормального научного прогресса» за пределами лабораторий и государств, в которых они были изобретены.

Современные геополитические условия в результате являются местом, где такие страны, как США, вынуждены противостоять «побочным эффектам» Холодной войны, и тому, что определено в понятии «отдача», эффект бумеранга от комплексов вооружений, создающих теперь опасное положение из-за неконтролируемого распространения и/или необратимого токсичного наследия и его смертельных продуктов. Скандал в США в отношении обвинения китайского шпионажа в американских ядерных лабораториях является одним из недавних примеров той самой «отдачи», где оружие, предназначенное для «национальной безопасности» заканчивает представлением угрозы «национальной безопасности» через распространение к потенциальным врагам. То, что немногие десятилетия Холодной войны создали такое количество смертельного оружия, токсичных веществ и загрязненных территорий, что это создает угрозу людям всего нового тысячелетия, является более общей и неизбежной «отдачей» (Кулец 1998). Для Бека общество риска — это объективные условия, где государства и общества вынуждены столкнуться с «побочными эффектами» модернизации, которая более не может быть воплощена и воспринимается как простые «побочные эффекты». Это также момент политического выбора, когда государства и граждане могут воспринять, что множество беспрецедентных рисков, созданных как нечто само собой разумеющееся, опосредованные рациональным действием, как, например, производство «национальной безопасности», вызывает крайне исчисляемую рациональность и риск в вопросе. Рефлексивная модернизация, по Беку, может быть по-настоящему отражающей модернизацией, которая ставит вопрос перед рациональностью, полезностью и безопасностью преследования определенной модернизационной логики, или может быть модернизацией, которая объединяет инструментальную рациональность и ищет «решение» проблемы «побочных эффектов» с большей рациональностью, которая породила их до этого. Струк-

тура общества риска Бека как вовлекающего в выбор между «хорошей» рефлексивной модернизацией и «плохой» отражающей модернизацией является, возможно, чрезмерно широкой, но, тем не менее, это полезный начальный пункт для того, чтобы задуматься над дискуссией о современной национальной безопасности, над тем, как защититься против стратегических ракет и химико-биологического оружия (Фалкенрат и др. 1998). Независимо от того, сокращается ли политика современной «национальной безопасности» или, скорее, на самом деле углубляется и распространяет риск, это вопрос, который особенно уместен при покидании наиболее жестокого века в истории человека.

Для критических геополитиков уместным является вопрос, касающийся той же проблемы, как построены детерриториализованные опасности и как они представлены институтами «национальной безопасности». Одна интересная черта дискурса детерриториализованной угрозы — с его запасом образов мировых заговоров, террористических сетей и запрещенного оружия массового поражения — это его тенденция возвращать эти угрозы в территориальный регистр, чтобы вылить поток бесформенных глобальных угроз в старые территориальные бутылки. Таким образом, например, вопрос управления опасностями, вызванными стареющими военно-индустриальными комплексами Холодной войны, становится вопросом «ядерной утечки» только в России. Аналогично, угроза от оружия массового уничтожения становится вопросом сдерживания «неконтролируемых государств» (хотя даже и оборудование и ученые, производящие это оружие, часто западные). Угрозы транснационального терроризма становятся угрозой иностранных государств, спонсирующих терроризм (хотя даже и многие террористы являются местными). Общей тенденцией является проектирование угрозы как существующей «где-то там» с «ними», без признания, что угроза также «здесь» с «нами». Угроза всему, исходящая от наших собственных стареющих комплексов химического оружия редко бывает концептуализирована и адресована экспертам по безопасности [3]. Фундаментальные вопросы о производстве, распространении и управлении рисками прежде невиданных непоблематизированных продуктов нашей научно-технической современности Холодной войны еще не поставлены. Территориальная логика «здесь» и «там», а также легкая этноцентрическая гордость со своим «мы» как отличным и превосходящим «их» все еще обрамляет множество современных дискурсов о западной безопасности (Шапиро 1997).

### **Заключение**

Тенденции к гиперболизации и преувеличению являются обычными проблемами литературы, ищущей путь к определению мира постмодерна. Это важно, поэтому в стремлении охарактеризовать геополитическую ситуацию

постмодерна, где постмодерн мы осторожно определяем как отличительный момент в геополитической истории модерна, как целое, а не радикальный разрыв с ней. Длительное время будучи защищенной от серьезной проблематизации и постановки вопросов со стороны очевидного кризиса геополитики Холодной войны, область геополитического исследования и теоретизации никогда не была полностью сцеплена с основательными экономическими, технологическими, культурными и политическими изменениями начиная с последних трех десятилетий Холодной войны. Уверенное и наивное наблюдение, антиисторическая категоризация и идеологическая догма, Холодная война представляла модернизацию классических геополитических видений и объяснительных принципов. Она продолжала быть доминируемой со стороны территориального и статического видения мировой политики, в то время как ее методы объяснения были процедурно модернистскими, обращаясь к полностью сформировавшемуся внешнему миру, глубине герменевтики и антиисторическим сущностям (Далби 1990). Пока растущая значимость мира экономики, убывающая имперская власть самых больших территориальных государств, распространение технологического знания и военной производительности были частично признаны в 1970-х гг., 1980-е гг. увидели возвращение более манихейского, бесхитростного видения мировой политики с ее президентскими выборами Рональда Рейгана.

С крахом коммунизма в Советском Союзе и появлением новых кризисов от Балкан до Азии геополитика была насильно вовлечена в рефлексивную модернизацию, неизбежную вторую волну модернизации, которая переместила ее над геополитическими принципами и видениями Холодной войны. Геополитическая теоретизация и концептуализация теперь активно схватывается с проблематикой глобализации, информационализации и распространения безграничных рисков. Изменения, которые эта разворачивающаяся динамика разработала для воображения пространства мировой политики, значение национальной безопасности и практика внешней политики, форсировали геополитическую теоретизацию, иногда против воли, разрабатывать сверх простых идеологических/территориальных и статических представлений. Новые геополитические дискурсы вместе с быстрыми, подвижными и бесформенными опасностями позднего XX века были сконструированы в результате этой рефлексивной модернизации, дискурсов, которые стремятся обратиться к логике детерриториализации, в то время как necessarily отказываются от геополитических представлений модерна.

Хотя проблематика геополитики в настоящее время неизбежно постмодернистична, это не означает, что геополитический дискурс и практики стали постмодернистскими. На самом деле, современные геополитические дискурсы все еще неуклонно модернистские в методе, развертывании некритического картезианского перспективализма (постмодернистский метод размышления о размышле-

нии), чтобы представлять мир как уже явно наполненный смыслом, дисциплинирующий непослушную сложность через обращение к непроблематизированным авторитетам и знаниям, сокращая детерриториальные вопросы к знакомым территориальным регистрам, а также отступая перед не ответственной исключительностью (обществ). Все эти проблемы отмечают дискурс администрации Клинтона по поводу появляющихся угроз, угроз настолько о развитом модерне, насколько и о «неконтролируемых государствах и ядерных преступниках» (Далби 1998). Нужен такой критический постмодернистский подход к новым геополитическим дискурсам и практикам, который сможет представить состояние наших современных условий без объективирования их, и также, в то же время, сможет поставить под вопрос отношения сохранения власти в геополитических дискурсах. Геополитика в новом тысячелетии как открытая проблематика, касающаяся государств, государственного управления и безопасности в мировой политике, является крайне важной, чтобы быть оставленной не критическим геополитикам.

[1] Сложность мировой политики превышает категории конвенциональной и критической геополитики. Понятия геополитики модерна и постмодерна являются грубыми этноцентрическими категориями, которые определенно основаны на опыте доминирующих государств в мировой системе. «Геополитика модерна», в той степени, в которой это понятие может быть установлено, связано с вестфальской идеей дискретных территориальных государств, концептуализацией взаимоотношений между географией, идентичностью и суверенной властью, которая происходит из вестфальской Европы и была впоследствии экспортирована в весь остальной мир. Эта евроцентричная схема никогда не описывала адекватно беспорядочные комбинации территорий, идентичностей, а также множества конкурирующих суверенных властных структур, которые характеризовали мировую политику с XVII века и далее. «Геополитика постмодерна», в той степени, в которой это понятие может быть установлено как скорее связанное с идеей транснациональных потоков, чем территориальных неподвижностей, оно настолько же специфическое в отношении опыта относительно маленьких общностей государств развитого капитализма, чем все государства и народы в мировой системе. Я сосредоточился на дилеммах американской внешней политики, и хотя США составляют только малую часть мирового населения, они вступают в новое тысячелетие как государство *primus inter pares* («первый среди равных») в современной мировой системе.

[2] Взаимоотношения между «геополитикой» и «технологиями» никогда не были адекватно теоретизированы. Технологии войны, транспортировки и коммуникации являются решающими в формировании геополитических условий, но ни конвенциональные, ни критические геополитики не исследовали взаимоотношения между социо-техническими сетями и геополитическими практиками ни в какой мере. Для начала, хотя бы, посмотрите Матляра (1994).

[3] В их схеме «новой стратегии безопасности для Америки» Картер и Пери (1999) определяют то, что они называют «угроза внутри». Эта угроза не является, как бы то ни было, той, что может быть поставлена американским гражданам со стороны американского истеблишмента по защите и комплексам вооружений. Для них это угроза самоуспокоения, которая может временно утихомирить США, чтобы не тратить достаточно средств на поддержку модернизации своих вооруженных сил.